

ВСТУПЛЕНИЕ

*Трамваи оледенели,
от прорубей дымна Нева;
жизнь меряется на недели,
на саночках возят дрова.*

*И пять километров упрямо
до самой работы пешком
шла в утренних сумерках мама
под колким и редким снежком;*

*шла мимо навесов дощатых,
где горько держала земля
костлявых и одутловатых
ничьих мертвецов штабеля;*

*шла мимо бойниц пулемётных,
повёрнутых к Стрельне лицом,
готовых вдоль улиц голодных
по немцам ударить свинцом;*

*шла мимо гряды баррикадной,
был шаг её женский тяжёл,
и город, такой непарадный,
её словно за плечи вёл...*

Словно в эти тревожные дни
недостатки друг друга прощали они;
словно вдруг понимали:
им нельзя в отчуждении быть,
потому что хотят ни за что, ни про что их убить.
И дуранду колот на трубе Варташак молотком,
люди грызли её, на скамейке усевшись рядком;
Люсенька-хохотушка мальчуганов прижала к груди,
улыбалась им грустно —
что их, маленьких, ждёт впереди?..
А когда раздавались разрывы как будто в дому,
прижимались соседи плечами один к одному
и сидели, прижавшись, будто один человек,
и подвал
их к спасению вёз, словно Ноев ковчег.

.....
Я пишу эти строки в покое, тепле, тишине,
близкий остров осенний предо мною в окне,
глухо лает собака, скворечники ныне пусты,
оголились совсем и уже почернели кусты.
Недвижим, словно крест на погосте, жестокий вопрос —
почему я людское тепло ощущал в пору смерти и бед,
а когда я, счастливый, шёл по лугу в сверкании рос
и клубились нежнейшие дымки
над моей головой,
вдруг зелёною жабой зависть плюхнулась передо мной?..

О, блокадной дуранды кусок, что ломал Варташак на трубе!
Без него мне в иные мгновенья
становится не по себе,
в те мгновенья, когда поздравляют цветасто меня,
что, мол, то-то и то-то совершил невозможное я...
И душа моя плачет.
“Где же искренность!” — горько шепчу...
Но дуранды кусок вспоминаю
и молчу, и молчу...

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Моя строгая бабушка,
со школьным влияньем в борьбе,
“Отче наш” мне читала,
внушала молитвы свои...
А потом был полковник — он учил меня меткой стрельбе.
А потом была женщина — она нежно учила любви.
Боже, сколько учителей
меня столько учили всему!
Но молоденькую учительницу — у ней волосы собраны в узел
и наивны глаза —
навсегда я запомнил,
потому что учила
письму
меня, глупого мальчика, и я её страшно конфузился тем,
что голых смешных человечков в тетрадь рисовал,
когда мне задавала она буквы выстроить в строчке...
У неё был лица необычный красивый овал,
и серёжка мерцала в её мягкой девической мочке.
Она маме моей говорила, что я леноват,
мама к ней посылала меня,
и я каялся, мол, виноват,

и она так легко меня в малых проказах прощала,
проводила меня до дверей и к себе приглашала.
Я пришёл к ней однажды и замер смущённо в дверях:
распустив свои косы, без туфель, босая,
как девчонка, кружилась она, конвертик сжимая в руках;
я стоял и смотрел, куда повернуться не зная.
А она подскочила ко мне, заглянула в глаза,
рассмеялась счастливо, как будто и я соучастник,
и сказала: "Ты милый, хотя и проказник!.."
И сверкали, сияли, лились золотые её волосы.
А в начале войны я на улице встретился с ней,
её под руку крепко держал лейтенант с кубарями,
я узнал её сразу — он её провожал вечерами
и топтался, её проводив, у закрытых дверей.
Она шла рядом с ним, всё стремилась в лицо заглянуть,
шла такая печальная, от разлуки робея,
и скрипела на нём новёхонькая португеза,
и лежал перед ним солдатский, немеряный путь...

В декабре умирала она,
свои карточки потеряв.
Она долго искала их во дворе, в темноте подворотен...
По суровому смерти уставу
лишалась на жизнь она прав,
а устав не обжаловать — был он бесповоротен.
Может, ветер унёс на проспекте талончик цветной?
Может, выкрала чья-нибудь мать, чтоб спасти умиравшего
сына?

Я не знаю, не знаю...
Но подёрнут зрачок пеленой,
и не путь молодой перед ней,
а пучина, пучина.
В две шубёнки закутана да в старую шаль с бахромою,
на топчане лежала она и казалась немою,
лишь глазами слегка поведёт,
прояснится зрачок
и погаснет опять, как мгновенный в ночи светлячок.
Я стоял у топчана...
Ни слёз, ни стенаний, ни жалоб...
Мне бы не было, может, так страшно смотреть на неё,
если б смертных рыданий и просьб она не удержала.
Но спокойно, беззвучно, навечно впадала она в забытьё.
Пахло в комнате тленом и нежилой пустотой,
густо пыль оседала,
фикус, как в леднике, стыл...
Но она находилась уже за той самой чертой,
за которой никто из живых никогда не ходил.

Я смотрю из окна,
редкий дождик в окно моросит,
облетает малина, лист последний на ветке висит...

Ныне грамоте сына учу,
обучаю я сына письму...
Ах, в какое богатство хочу
распахнуть я ворота ему.

И когда вывожу я пером
на бумаге алфавит родной,
вся лучась неподкупным добром,
возникает Она надо мной.

ТРЕТИЙ ЭТАЖ

*Наш квартирный Петров вгоняет патроны в наган,
наш квартирный Петров уходит в морозный туман.
У него нет семьи и есть милицейский паёк,
но не скажет никто о Петрове, что живёт он, как Бог.*

*Он ракетчика брал в нашем доме,
во тьме чердака
пуля тенькнула звонко у его молодого виска,*

*и на крыше железной схватились они грудь о грудь:
чтобы жить одному, надо с крыши другого столкнуть...*

*Вытер руки Петров о шинель, желваками играл,
выпил прямо из фляжки свои фронтовые сто грамм,
прислонился к стене, приказал мертвеца обыскать
и все вещи его в формуляр протокола вписать.*

*...Наш квартирный Петров совершает проверку квартир,
потому что таится в одной из квартир дезертир;*

*третьи сутки бессонно стоят у парадных пустых
сам квартирный Петров и двое его постовых.*

*На четвёртые сутки сообщает гражданка одна,
что в квартире Лукьяновны парень мелькнул у окна...*

*И, надвинув на брови фуражку, нащупав курок,
боком встав у дверей, нажимает Петров на звонок.*

*А старуха Лукьяновна в дверях ни жива, ни мертва,
и у ней с языка никакие не сходят слова.*

*А за нею в проёме — глазами трусливо косит —
её младший, Василий, в нательной рубахе стоит.*

*“Собирайся!” — ему говорит наш квартирный Петров,
его голос негромок, но сам он, как Время, суров.*

*В ноги пала Лукьяновна, разразилась потоками слёз —
сын, мол, мамушке только картошки да хлеба принёс,*

*лишь успела обмыть его, по-матерински обнять,
а теперь на позицию мальчик уходит опять...*

*В ноги пала Лукьяновна, хватает его сапоги,
а Василий белеет, что мел, от предсмертной тоски.*

*Но, на шаг отступая назад, непреклонен Петров:
“Собирайся!” — и голос негромок, но сам он, как Время, суров.*

*Шёл по лестнице Васька, болталась шинель без ремня...
Мать бежала за ним, стонала, моля и кляня...*

*Наш квартирный Петров взял его на четвёртую ночь,
он не мог ничего —
ни простить, ни пустить,*

ни помочь...

*...У Дерябкина рынка истошные крики и звон —
посреди бела дня нападают на хлебный фургон.
Измождённые люди с блеском жестоким в глазах
рвутся к тёплым буханкам, забыли про совесть и страх.*

*Вот ударили ломом,
вот сбили тяжёлый засов...
(Где-то очередь ждёт этот хлеб с предрассветных часов,*

*и голодные дети, вцепясь в материнский подол,
так по-взрослому просят,
чтоб хлеб к ним скорее пришёл.)*

*Подбегает квартальный Петров:
— Стойте, граждане! Это разбой!..
Но толкает старуха Петрова костлявой рукой.*

*Воронёный наган над толпой воронёнком взлетел...
Парень выпустил лом и мягко на землю осел...*

*.....
Четверть века прошло, но Петрова я не позабыл...
Был я суетен в жизни и глупо чувствителен был,
но я был человеком, когда, неподкупен и смел,
поступал, от всего отрешась,
так, как Долг мне велел!*

*И тогда, может быть, тень Петрова являлась ко мне,
и склонялся Петров над моим изголовьем во сне...
— Ты стрелял в человека, — спрошу я, — товарищ Петров?
— Да, стрелял... — отвечает
и молчит он, как Время, суров.*

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАЖ

*Мой дядя был скромный художник,
и замыслы дяди просты:
букеты тюльпанов роскошных
он кистью писал на холсты.*

*Он их продавал на толкучке,
в ряду, где цветы, семена...
Потом покупал мне тянучки,
себе же — бутылку вина.*

*А дома, печально и пьяно,
твердил, кареглаз и лобаст:
“Искусство, что гордая панна,
не каждому руку отдаст...”*

*А то вдруг:
“Да я ли пропащий!
Мне ль жить по гостиным рядам!
Покуда сыграю я в ящик,
такое ещё я создам!..”*

*Но между аляповатых,
базарных и жалких картин
был холст, где на склонах покатых
дрожащая роща осин,*

*и небо над нею так грустно,
и ветер так буен и стыл,
как будто от бога искусства
всё ж ангел его навестил.*

*...По праздникам с дядею часто
ходил я гулять в зоосад;
там морж поджимал свои лапы,
и тигр выгибался, усат.*

*А дядя мой, трезвый и чинный,
был с ними накоротке,
тянулся он к морде звериной
с фруктовой конфетой в руке,*

*как будто бы то, что в неволе
томятся бесправно они,
он сам ощущает до боли
в свои уютные дни.*

*Он купит у мальчика в клетке
пичугу и выпустит ввысь,
довольный, что птица на ветке,
как будто надежды сбылись.*

*Вот птица взлетает, как мячик,
в свой незарешённый рай,
и дядя роняет: “Мой мальчик,
почаще, как я, поступай!..”*

*...Он был на гражданской солдатом
и стал от раненья хромой...
...В июне
военкоматом
по чистой отпущен домой.*

*Но не дорожа этим правом,
стыдясь невоенных забот,
он сделался домоуправом,
а прежний ушёл на Балтфлот.*

*Хромал, но походкою ловкой
в тревогу бежал за порог,
следил,
чтоб плохой маскировкой
растяпа врага не привлёк.*

*А если бомбили часами —
в подвал он, тоской обуян,
лишь вслед за своими жильцами
сходил, как герой-капитан.*

*И в этой работе домашней
у самой у передовой
вдруг
друг обнаружился новый —
заезженный конь ломовой.*

*А конь так тоскливо и верно
на дядю смотрел в полутьму,*

*как будто о доле их смертной
уж было известно ему.*

*...Зима начиналась сурово,
разгульно метели мели.*

*...Сломали замок у гнедого
и в ночь со двора увели.*

*Судья, иронически глядя,
не веря ни в чём никому,
считал, что был в сговоре дядя,
и дядю упрятал в тюрьму.*

*В день смерти, метаясь по нарам,
всё звал он гнедого в бреду...
Он умер зимою,
нестарым —
на сорок девятом году.*

*И к ямам, где стылая глина,
покойников высохших прах
казённая автомашина
возила весь день второпях.*

*Потом —
возведут монументы,
на холмик поставят гранит,
седые, как снег, президенты
чело опечалят у плит.*

*Потом —
перед прахом пехота
торжественным маршем пройдёт...
Сегодня — ни слёз, ни почёта,
ни писаря,
чтобы вёл счёт.*

.....

*О дяде я думаю ныне.
Я ныне ещё молодой,
но ходит по ясной равнине
неведомо где
мой гнедой.*

ПЯТЫЙ ЭТАЖ

*А на пятом такая богиня жила!
Ах, какая богиня жила!..
Наша дворничиха
даже двор не мела,
когда по двору Люсенька шла.*

*Если белы снега с алой зорькой свести —
вот такое у Люси лицо;
а над этим лицом — ты гляди да грусти —
рыжей вьюгой бушует кольцо.*

*В мае перед войной
забубённый танкист*

уходил от неё сам не свой,
он у самых ворот, синеглаз и плечист,
улыбнулся, повёл головой.

Был их месяц медовый, как зимний рассвет,
соловьиная песнь коротка...

И казалось —
любовь их на тысячу лет,
но стояла война у виска.

...Пехотинцы отходят... Рассыпан их строй...
Прикрывают танкисты отход...
Пятый танк задымил панихидной свечой,
артиллерия лупит с высот.

На себя принимают танкисты удар,
сталь корёжится в поле, горя...
...И прикажет писать писарям комиссар,
станут письма писать писаря.

Молодая вдова зарыдает навзрыд,
будет кругом идти голова...
Но очнётся она,
горе перегорит,
глухо скажет: “А я-то жива...”

...К ней придёт интендант, в белых бурках, мордаст,
воровато шмыгнёт у дверей,
он ей душу свою
ни на миг не отдаст,
банку выложит: “Ну, разогрей...”

А потом низким голосом
он пропоёт,
по-хозяйски придвинувшись к ней,
как во тереме дальнем отрада живёт,
ждёт в ночи распрекрасных коней.

А потом он уедет по Ладоге в тыл...
Подошлёт своего к ней дружка...
Будет этот чернявый плюгав и постыл,
да чтоб жить — не хватает пайка.

Но однажды ей встретился бравый “каплей” —
только сутки гулять моряку, —
он ей душу согреет заботой своей,
Люся выплачет боль и тоску.

И скатёрку узорную из сундука
необычно постелет на стол,
словно к ней не на вечер он, а на века,
женихом ненаглядным пришёл.

И пригубит вино, будто в праздник, чуть-чуть,
и, у нежности тихой в плену,
опрокинет ему на широкую грудь
всю свою золотую копну;

И пойдёт наша Люся
на фронт медсестрой...

*Может, спит наша Люся
в могиле сырой...*

*Адрес свой никому не сказала,
а сама она писем не слала...*

ПОСЛЕСЛОВИЕ

*Я жил не под крылышком мамы
в блокадную круговерть,
а был я участником драмы,
где в главных ролях —
Жизнь и Смерть.*

*Блокада далёко — я знаю,
я нынче не тощ и не сер;
всё временем тем оцению,
всё мерю на тот размер.*

*Трагедии вымерших комнат,
где вещи в пыли и во льду...
И если я вами не понят —
я даже на это иду.*

*Вы с ходу меня не судите,
я судей-ханжей не терплю;
я жизнь не просею на сите,
я крупным куском отломлю.*

*А пять этажей за плечами,
как пять
с бою взятых траншей,
и мне не на ровном — полями,
мне вверх — этажами страстей*

*идти неотступно и жадно...
Но будет до смерти во мне
таиться мальчонка блокадный,
как колос таится в зерне.*